

Обыкновенная биография i — эпизод 1 из 6

В воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Рана еще не совсем зажила, но за последние дни прибывало много [раненых]

*

шахтеров с линии Миллерово — Луганск — Дебальцево. Мест не хватало.

Мне выдали пару белых грубых новых костылей, отпускной билет и проездной литер на родину.

Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних — рваных и запачканных кровью, — и подошел к позолоченному полинялому зеркалу.

Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папаше, самого себя с обветренным, похудевшим лицом и серьезными, но все равно веселыми глазами.

Полтора года прошло с тех пор, как, испугавшись, убежал я из нашего города Арзамаса.

С тех пор прошло многое. Октябрь. Боевая дружина сормовских рабочих, Особый революционный отряд, фронт, плен, гибель Чубука, прием в партию, пуля под Новохоперском и госпиталь.

Я отвернулся от странного зеркала и почувствовал, как легкое волнение слегка кружит мою только что поднявшуюся с госпитальной подушки голову.

Тогда я подпоясался. Сунул за пояс тот самый, давнишний маузер, из-за которого было столько беды в школьные годы, и, притопывая белыми, свежими костылями, пошел потихоньку на вокзал. Там спросил я у коменданта, когда идет первый поезд на Москву.

Охрипший суровый комендант грубо ответил мне, что на Москву сегодня поезда нет, но к вечеру пройдет на Восточный фронт санитарный порожняк, который довезет меня до самого Арзамаса.

И еще сердитый комендант дал мне записку на продпункт, чтобы выдали мне хлеб, сахар, селедку и махорку в двойном размере — как отпускну-раненому.

Хлеб, сахар и селедку я положил в вещевой мешок, а махорку отдал на вокзале одному товарищу, который был еще раньше ранен и теперь опять возвращался на фронт.

Около года я не получал писем от матери. Сам я написал ей за это время два или три коротеньких письма, но адреса своего ей сообщить не мог, потому что в то время полевых почтовых контор еще не было, да если бы и были, то и это не помогло бы, потому что орудовал наш маленький отряд больше по тылам — сначала у немцев, потом у гайдамаков и у белых.

А из госпиталя, из Воронежа, я не писал нарочно — чувствовал, что мать, узнав о моей ране, только без толку расплачется и разволнуется.

Санитарный порожняк торопился на восток, где в это время шли крепкие бои с Колчаком. Уплывали одна за другою станции, чужие, незнакомые, но все так похожие одна на другую — забитые, грязные, кричащие, звенящие, лязгающие оружием, расцвеченные красными флагами и плакатами.

Мелькнет вокзал, красноармейцы, выстроившиеся с котелками возле дымящейся походной кухни.

Дернет за сердце прорвавшийся через грохот колес напев гармоник, дунет морозный ветер — запахом дыма, сена, лошадиного навоза и карболки.

Врежется в память [посиневшее] лицо рабочего-дружинника, опоясанного пулеметной лентой на вылинялой кожаной тужурке, отягощенной брезентовым патронташем.

Улыбнется и махнет рукой женщина, вероятно работница. Да и какая там женщина — просто веселая девчонка с наганом у кожаного пояса.

И опять далекое поле, а в поле за сугробами далекие дороги и далекие деревни, села, и в каждой деревне свой Деникин, в каждом селе свой Колчак, свои красные, своя ненависть и борьба.

Поезд прорвался за Муром, и вместе с ударами станционных колоколов сразу зазвучали имена станций, разъездов, полустанков, давно знакомых еще по детству, по школе, по семье... Мунтилово, Балахониха, Костылиха...

Давно ли? Нет, впрочем, давно, очень-очень давно — года четыре или лет пять назад отец взял меня с собой в Костылиху, куда ездил в гости к тамошнему учителю Федору Матвеевичу... Там мы спали на сеновале, потом пили чай с крыжовником, потом мы ходили купаться, и когда шли назад, отец и учитель и

еще две какие-то хорошие женщины, то все они пели песню, которую я силился сейчас вспомнить, но никак не мог.

Отец гудел басом, как церковный колокол. А одна из хороших женщин, та, которую звали Маруся, пела так звонко-звонко, что я схватил ее за руку и так прошел с нею всю дорогу — тихонько и молча.

Потом, когда уже дома я рассказывал об этом матери, мама сказала мне, что эта Маруся нехорошая женщина, и заплакала... И когда отец стал успокаивать мать и стал говорить, что он и сам не находит в Марусе ничего хорошего, то и тогда я остался при своем убеждении, что эта Маруся все-таки хорошая.

Поезд прорвался мимо полустанка Слезевка. Впереди мелькнули бесчисленные церкви и монастыри Арзамаса, они росли, вырисовываясь все ярче, ярче... так что я теперь мог уже различить и крутую гору собора, и купол Благовещенской церкви, и даже старую пожарную каланчу.